

ОТДЕЛ ЛИТЕРАТУРНЫЙ

С. Балыков

На пепелищах

Многолюден и богат был хутор Боглаев. Хоть маловодна и болотиста речушка Богла, но по черноземным лугам, образованным ее извилинами, цвели обширные плантации.

То вокруг лугов и плантаций, то вдоль самых берегов, на много верст, авулами родовых костей, тянулся старый хутор. Серые землянки, крытые камышом, кугой и соломой сараи, конюшни и амбары, сложенные из колючек базы преобладали в нем, но хутор утопал в зелени садов, а красные, голубые и оцинкованные жестяные крыши, да желтые, зеленые и красные окраски деревянных домов хуторских богачей полевыми цветками пестрели по хутору и красили вид.

По ту сторону речушки, по отлогому и длинному холму, вольно разбредясь, пестрели гурты скота и залежавшими пластами снега белели отары овец. А по эту сторону, по многоверстной степовой равнине, паслись многочисленные стреноженные или спутанные кони и шайки беспокойных телят. А дальше, уже, зеленело море покосных паев и волновались, тихо шелестя, полосы хлебов.

По хутору, меж дворов и авулов, по улицам, то узким и извилистым, то широким и прямым, как шляховая дорога в степи, мелькали быстрые и яркие халаты Калмычек, сверкали расшитые золотом джатаки барышень, подсолнечной головкой желтел верх хаджилги, цветущим маком адели лампасы шаровар и околыши казачьих фуражек.

Мир, довольство и покой царили в этом краю! . . .

Не много лет прошло, а ныне уж не верится, что полутора десятка лет тому назад здесь было так. Только природа та же: также по весне ласково греет солнышко, также буйно зеленеет травами степь, но жизни той уж нет . . . Словно адovým огнем пожгло все, потопом бущующим смыло и тысячи посланцев смерти с косами и метлами прошлись по степи Калмыцкой.

Не тот уж и хутор Боглаев: два десятка маленьких обколупленных землянок, при небольших кучах буреющей соломы и черноверхих стогов сена, убого ютятся у старого, полуразвалившегося деревянного моста через, ту же, речушку Богла. Ни садов, ни плантаций нет.

Меж землянками вяло снуют люди в безобразных лаптях, в грязных и смердящих онучах, обмотанных обрывками веревок, в полосатых ряднинных портках и латаных мешочных рубахах на голые тела. Вечно вшивый и вечно почесывающийся мужик завладел Боглаем. Хутор Боглаев теперь не калмычий. Это — мужичий поселок. На опустошенную красною смертью степь налетело с севера прожорливое воронье. В пустые землянки Калмыков вселился московский наброд и за одну зиму слизали все. Пovyрубили и пожгли фруктовые сады, разобрали и растащили деревянные постройки, попалили все, что может сгореть. Пришли на чужое богатство, но остались попрежнему нищими. Собачье брюхе не переваривает масло . . .

Как каменная „баба“ на кургане в казачьей степи напоминает о народах неизвестных, когда-то живших здесь, так немым напоминанием о недавней были, угрюмым бирюком живет на окраине этого мужичьего Боглаева старик-калмык Баян.

В крохотной землянушке, заросшей бурьяном, с двумя сиротами — внуком и внучкой — убого живет старик. Внуку, живому и сообразительному Ошкуну, — 7 лет, а смуглой и ласковой к дедушке Замбе уже — 16. Знает Баян, что пора и ему выбраться отсюда туда, где есть еще Калмыки — придуренные хозяева возбужденной степи, но тяжело старику покинуть навсегда родные берега Боглая.

Уж сколько раз он говорил детям: „Завтра пойдем в калмыцкий аймак“, сколько раз он задерживал с утра свою единственную коровку, но каждый раз сжимающееся болью сердце и вздымавшиеся легкие заставляли его откладывать. „Нет, поживу еще немного дней . . . Дети еще малы, успею их своевременно доставить в калмыцкую среду“ — утешал себя каждый раз Баян.

Выпустив пастья коровку, он уходил, обыкновенно, в таких случаях, бродить вокруг хутора, по пепелищам старого былого Боглаева. „Ну вот, было покинул вас, да не смог“ — будто говорил он здесь, меж остатков хутора.

Каждый завалившийся и засохший колодец, полуистертая канава, обросшие бурьяном развалины саманных стен, заросший травой бугорок золы, пепек срубленного дерева, полусгнивший кусок столбика в земле — все было ему знакомо и напоминало иные дни, иных людей, дорогих и милых сердцу родных, добрых соседей и друзей . . .

Во время таких прогулок по развалинам былого хутора Баян делался ненормальным: Он начинал говорить сам с собой, размахивая руками, качать головой, то убыстряя шаги, то останавливаясь, забывая обо всем. Если в такие минуты попадался ему на глаза мужик, он сперва удивленно тарачил глаза, а потом вздрагивал, отворачивался, скрипел зубами и плелся.

Из таких прогулок редко Баян возвращался сам. Прождав до обеда, или до вечера, Замба или Ошкунотыскивали дедушку и приводили домой. Ведя за руку внука или внучку, дед говаривал: „Вот в этих стенах жил мой старший, выделенный, сын. В том году, когда красные взяли в свои руки закон, ворвались однажды ночью четверо вооруженных мужиков и вырезали всю семью . . . И ни суда, ни следствия. Тьфу!.. Это закон красных. А эта канава сенника моего зятя, который убит в бою под Куберлой. А жена его умерла в голодный год с двумя детьми. Трое сыновей и четверо дочерей у меня было, и все были выведены в люди!.. Теперь я — один, только двое сирот и осталось у меня. А те пни, что как галки на пашне чернеют, это остатки громадного яблоневого сада богача Санчира Пукова . . . Бывало, как зацветет весной сад, или начнут зреть летом яблоки, так на целую версту пахло яблоками!.. А это . . . могила моей

старухи. Тридцать лет в ладу прожили. А вот там стоял дом богача Цебека Мангатова, а выше, как раз над той балкой, был двор Одыка Далдурова, через балку, напротив, Мелика Сухаринова, дальше были дворы братьев Сасыковых, а там уже авул Сафоновых . . . богатые были хозяева! Жил и я хорошо — моя пара вороных и ездовой рыжий славились на весь хутор, был скот, амбар бывал полон зерном . . .”

Сироты, внук и внучка Баяна, непомнящие почти никого не свете, кроме доброго и болтливового дедушки, как чудную сказку слушали рассказы деда о былом, богатом и многолюдном калмыцком хуторе Боглае. Десятки и сотни имен, от голода умерших или убитых большевиками людей, запомнили они от деда, как героев сказок, невольно запоминали недавнее прошлое каждой кучи глины. А сами они знали только голод, убогую жизнь. Но они были дети. Они не знали иной жизни. Они росли сегодня.

Было начало осени. Был тихий, ясный, теплый, день, когда по воздуху носились нити белой паутины, наматываясь на кусты, на одежды и лица людей. Баян еще с вечера принял твердое решение — на другое утро уйти с детьми в калмыцкий аймак на Салу, где собрались немногочисленные остатки хуторов когда-то большой станицы Бокшурганова. Старик вчера видел, как Замба и Ошкун оживленно и без злобы болтали с двумя мужичьими парнями. Понял Баян, что в душах этих детей нет того чувства, какое гвоздем засело в его мозгу.

В этот день далеко забрела по балкам их коровка, и Ошкун до темноты бегал, ища ее. А дедушка, надев свой старый легкий кафтан, еще засветло пошел последний раз побродить по оставшемуся пепелищам родного хутора. Хлопотливо готовилась к завтрашнему дню Замба. Она впер-

вые появится в большом калмыцком аймаке.

Тщательно вычистила девушка старый, оставшийся от матери, расшитый золотом бархатный джатак, хранимый ею пуще ока, выстирала и посушила свой зеленый бешмет, сшитый ею по указанию дедушки из подкладки его ватного кафтана, и древесным углем, растолоченным в ложечке молока, почернила головки от старых сапог, служащие ей праздничной обувью.

Между тем настал вечер, стало темно, а дедушка не возвращался. Как только Ошкун вернулся с коровой, Замба побежала к развалинам — искать дедушку. Быстро обежав пепелища „нашего авула“, как называл дед одну часть хуторского следа, она пошла дальше по пепелищам „авула кередов“ и наткнулась на трех мужичьих парней, преградивших ей дорогу.

— Хлопцы, чи не видали нашего деда?! — спросила Замба и хотела пройти мимо, но один из парней схватил ее, шершавой и горячей ладонью вмиг зажал ей рот и повалил. Задыхаясь и нату- жась, чтобы крикнуть, она увидела еще тени, сбег- ающиеся к ней . . .

Дед и внук только с рассветом нашли труп Замбы. Маленькая, скомканная, в разорванном бешмете, с ужасом в остекляевших глазах, со следами насилия, лежала она на дне сухого колодца . . .

Навзрыд ревел маленький Ошкун, а дед окаменело молчал. Заявив поселковой власти о трупе внучки, в тот же день одел старик Ошкуна, указав ему дорогу, дал в руки палку и приказал идти в калмыцкий аймак.

До опухоли глаз заплаканный Ошкун, погоняя впереди корову с телком, маленькой черной точкой пошел по дороге в калмыцкий аймак. Он думал, что дедушка, похоронив Замбу, придет за ним . . .



Темен был тот осенний вечер. Взволнованный „шалостями ребят“, мужичий хутор был тих. Не пропели еще полночные петухи, как на краю села запылал пожар. Сейчас-же, одни за одним, то там, то здесь, стали вспыхивать сараи гумна мужиков.

Испокон bestолковое и обалделое стадо мужиков, охая и матюкаясь, бессмысленно заметалось от огня к огню, а обезумевший Баян, ужом проползая по канавам, прячась по теням, перебежал от двора ко двору и жег село.

К утру, когда весь хуторок дымел в развалинах, а мужики, с дубинами, вилами и косами, звериной гурьбой пошли к баяновой землянушке, на крыше ее разгуливал высокий белоголовый старик — в чем мать родила — и скрипучим голосом громко распевал боевую поэму „Джангар“.

Донская Конституция по граббевски (кумир „русских казаков в эмиграции“).

Казаки, независимо от ваших политических убеждений сообщите свои адреса в редакцию журнала „Казакія“, на всякий случай.

Станичники, не забывайте о материальной поддержке на издание родного журнала „Казакія“.